

рожа Фроленку и на своей квартире хранила все необходимое для мины на железной дороге. В 1880 г. участвовала в приготовлениях к царубийству во время проезда императора через Одессу, состоявших в устройстве мины на Итальянской улице, при чем доставила необходимые для этого денежные средства. В 1881 г. участвовала в приготовлениях к 1 марта, доставила часть денежных средств для магазина Кобозева; последние приспособления бомб 1 марта были сделаны на моей квартире у Вознесенского моста. Из последующих событий принимала участие в убийстве генерала Стрельникова и в организации типографии Народной Воли в Одессе".

Таков был сжатый, сухой перечень фактов из жизни В. Н., — нечто вроде послужного списка, где отмечены походы и сражения. Между этими датами, 1869—1883, легла огромная полоса русской жизни, развернулась и закончилась эволюция того русского общественного движения, которое называется — "семидесятые годы", "народничество", "народовольчество". Между этими датами, в указанной схеме, протекла лучшая пора, молодость В. Н., период высшего расцвета человеческой личности, — период высшей радости жизни. Содержание этих 14 лет, разумеется, нельзя вместить в рамки указанной схемы. Не потому, что этот сухой перечень говорит только о том, что В. Н. пожелала вскрыть из своего прошлого, — а потому что эта схема чересчур формальна и не говорит о сущности, подсчитывает количество и не говорит о качестве. Даже более подробный ее показания, даже ее замечательная речь на суде... Она говорила на суде и перед судом, пленная, во вражеском стане... Такой строгий к себе человек, вообще, сдержанно и скупно делится с другими своими чувствами, своею интимной жизнью, — и не пред врагами стала бы она исповедываться.

Случайно жизнь не кончилась на этой главе, — говорю случайно, так как В. Н. была приговорена к смертной казни, — и началась следующая глава ее жизни, долгая, огромная глава жизни, 20 лет Шлиссельбургской крепости. Там тоже была жизнь, продолжалась биография... О ней мало показаний В. Н...

Скупые личные воспоминания в статье о Л. А. Волкенштейн, короткие упоминания о В. Н. в очерках других пленников Шлиссельбургской крепости, да ее стихи, где много нежных и грустных воспоминаний о детстве, о прошлом, обращение к нежно-любимой матери, к сестре, к то-

варищам, где луга и цветы и пасхальная ночь, но не звенят цепи, не гремят замки тюремных дверей и только изредка проносится полужадушенный, подавленный стон гордого человека... Не сказала еще речи Вера Николаевна пред историей, пред великим судом русского народа об этой полосе своей биографии.

Понять хочу я эту жизнь, которая перейдет в историю, как пример исключительной человеческой жизни. Только попытаюсь понять...

Так все мирно началось и так трагически продолжалось... Ни в той среде, из которой вышла В. Н. и которая окружала ее, ни в обстоятельствах ее личной жизни не было ничего, что толкало бы В. Н. на тот путь, по которому она пошла. Милая дворянская провинциальная семья... Институт для благородных девиц в Казани... Опять согласная, ласковая дружеская семья... Через год—полтора брак, тоже в пределах родного уезда, с тетюшским дворянином, местным судебным следователем... Отцы дружили... Старое дворянское гнездо, каких много было еще на границе 60 — 70-х годов, населенное Татьянами, Асями, Еленами, обвешанное музыкой Чайковского...

Правда, это было дворянское окраинное гнездо, стоявшее на рубеже полупокоренных, нередко восстававших инородческих племен, на краю, бок-о-бок с той вольницей, которая населяла Приуралье. В старом доме жили суровые традиции прошлого, воспоминания о строгих людях того строгого прошлого. Старый дом видал крепостные времена, и запах крепостного права еще жив был тогда в комнатах старого дома. Он помнил и пугачевщину. Смутные легенды жили в семье. Два Фигнера были повешены в пугачевское время. Прабабушку В. Н., китайнку, вывезенную из Китая прадедом В. Н., дворовые люди спрятали в погребе от пугачевской вольницы, и, после ухода ее, нашли в погребе мертвую барыню и родившегося ребенка, бабушку В. Н. по матери.

Но в пору детства и юности В. Н. все было мирно и ласково в мирном доме. И если была разница с другими провинциальными дворянскими гнездами, то именно в смысле наименьшей вероятности того пути, по которому пошла В. Н. Там не было характерной для шестидесятых годов борьбы отцов и детей. Кому приходилось встречаться с матерью В. Н. и кто знает ту исключительную нежную привязанность

матери и дочери, тот поймет, что не мать В. Н. могла бороться с детьми, в смысле противодействия их прогрессивным идеям. Отец В. Н. был, по-видимому, другого типа, более сурового и строгого, но, насколько мне известно, именно к В. Н., своей старшей дочери, он питал особенную нежность. И потом он умер через год—полтора после выхода В. Н. из института, и, кажется, по его настоянию был ускорен брак В. Н. Вот что писала она в Шлиссельбург, суммируя свое прошлое:

Там добру и науке с сестрой  
С в о ю жизнь посвятить мы решились  
И, судьбу вызывая на бой,  
Над отцовской могилой склонились.

(Стих., стр. 10).

Она не убегала из родительского дома на курсы, не проклинали ее родители... И поездка в 72-м году за границу не была крупным переломом в ее личной жизни, не была разрывом с прошлым, — вместе с мужем уехала Вера Николаевна — добывать „науку“, делать „добро“.

Эпоха 60-х годов положила с в о ю печать на В. Н., но не она целиком сложила ее: она не сделала В. Н. „шестидесятиницей“. Шестидесятые года не так резко проявились в провинции, и толстые стены института для благородных девиц смягчали долетавшие бурные звуки. Это был смутный аромат новой жизни, слабо ощущавшийся за толстыми стенами института, похожий на тот смутный аромат полей и цветов, что доносится в окно провинциальной тюрьмы; институт продолжал жить старыми традициями 30—40-х годов. Не спорю, 60-е года со всем тем великим содержанием, которое несли они, оказали большое влияние на молоденькую институтку. Сказалось на ней и чисто женское движение, проснувшееся великое чувство женской чести, литература Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Писарева, и бунт науки и всеобщая тяга к естественным наукам... Быть может, именно 60-е года и отчасти Писарев заставили ее избрать именно медицину, где так реально-ощутимо, так интимно-тесно связаны добро и наука. И в тех письмах, которые она писала долго спустя из Шлиссельбургской крепости, в том огромном внимании, с которым она относится там к естественно-научному образованию своих племянников и племянниц, видно, каким глубоким, неизгладимым пластом легла в ее душе наука шестидесятых годов.

Но не одни шестидесятые года сложили ее. У нее не было разрыва со старым, подчеркивания нового. Ее тянет к красоте и искусству в его старых формах, к тому, чем жили люди, раньше жившие. Она любила музыку и, через год после окончания института, собиралась поступить в консерваторию. Там же, в этих письмах — признание, что на нее имели огромное влияние романы и повести, в смысле складывания ее души, и „Один в поле не воин” Шпильгагена по-видимому, был одним из тех впечатлений, которые не стираются жизнью.

Ее стихи, ее проза... Если вы будете вглядываться в ее манеру письма, в стиль и тон ее стихов, — на вас повеет далеким прошлым пушкинско-лермонтовского периода,— тот же прекрасный русский старый язык, то же раздумье в стихах, та же сдержанная манера чувствования. "И мнится мне", "чредой", "проста; любезна, сердечна", — старые обороты перестрят в стихотворениях В. Н., и отзвук далеких дней русской поэзии слышится в них.

Поздней осенью, порою,  
 Так по лесу пробежит  
 Тихий ветер и листвою  
 Пожелтевшей зашумит.  
 Тот осенний ветер дальний,  
 Те умершие листья  
 Говорят, как друг печальный,  
 Как увядшая мечты...—

пишет В. Н. в 1889 году в Шлиссельбургской крепости. Были влияния, — литературы, эпохи, быть может, личные влияния... Но В. Н. была не из тех, которые легко принимают окраску среды, она никогда не была глиной в руках горшечника. В известном смысле она сама складывала себя, сама выбирала среду, сама отыскивала и выбирала свой путь, и если людей разделять на глину и горшечников, — была горшечником, а не глиной. Тогда, в 71-м году, в Тетюшском уезде, да и во всей России, не много было девушек, которые уезжали за границу учиться медицине, и очень мало было женщин, которые через год после брака меняли уютное дворянское гнездышко на анатомический театр и химическую лабораторию заграничного медицинского факультета. Она шла не по проторенному пути, а была в первых рядах русских женщин, прокладывавших пути будущим поколениям русских женщин, закладывая фундамент

одного из немногих русских зданий, которыми Россия вправе гордиться перед Западной Европой.

В 1876-м году В. Н. возвратилась из-за границы революционеркой, запасшись наукой, с новым пониманием „добра“. И опять-таки она сама складывала себя, сама вырабатывала формулу „добра“, которое нужно было нести, по ее мнению, в Россию. Конец шестидесятых годов и начало 70-х было временем перелома русской жизни, временем искания новых путей, новых методов в жизни. Кончался период непреклонного естествознания и мыслящих реалистов, только что появился „Прогресс“ Михайловского. В 72-м году вышел 1-ый том "Вперед" Лаврова, формировался кружок "Чайковцев" в Петербурге, а сорганизовавшийся в Женеве кружок русских „вырабатывал хождение в народ“; не было учительства, не было сложившихся программ, установленного „поведения“. В период строения, в период складывания революционного движения 70-х годов — вошла в него Вера Николаевна Фигнер. За ней было уже шесть лет жизни вне стен института, замужество, несколько лет научной работы, — по тем временам она уже не молоденькой вошла в революционную партию. И она вошла после долгой работы мысли, сомневающейся, строгой мысли, после долгих споров с Женевским кружком, состоявшим, главным образом, из русских девушек, судившихся потом в процессе 50.

Ей было не легко отказаться от своего понимания добра в смысле культурно-просветительной работы, ей было тяжело бросить науку, которую она любила, бросить за полгода до получения диплома врача. Но эта работа строгой мысли привела ее к заключению, что народное благо не будет достигнуто теми путями, который она намечала раньше, и что другое дело, более важное, более нужное, чем наука, зовет ее из лаборатории и клиник швейцарского университета. Она так решила, и ее решение, как все решения В. Н., было непоколебимо и неуклонно доведено до конца, — до приговора к смертной казни, до 20 лет Шлиссельбургского заточения.

С детства она любила цветы, любила музыку... В институте она была верующая, — той сладкой верой детских лет, которая доносится в поэтически - грустных отзвуках даже из стен Шлиссельбурга, в воспоминаниях о пасхальной ночи, в культе Христа. Она любила то самое,

она жила теми же чувствами, какими жили лучшие дворянские гнезда пушкинско-лермонтовского периода. И когда я отвлекаюсь от условий действительности и забываю схему ее жизни, все, что было с возврата из-за границы, — предомной встает поэтический и благородный образ русской женщины, неизвестно почему вылившийся в России в такую прекрасную и оригинальную форму, — русскую женщину давних времен.

Красивый и благородный давний образ... Ей писали в альбомы Пушкин и Лермонтов свои посвящения, она шла с мужем-декабристом в сибирские рудники, она смотрит на меня с пожелтевших листов писем людей сороковых годов, которые мне приходилось читать в архиве П. А. Бакунина. Это она встает из повестей Тургенева, из музыки Чайковского...

Почему же В. Н. вышла другая? Почему ее жизнь сложилась иначе, не так, как жизнь ее матерей и бабушек? Только автобиография самой Веры Николаевны ответит на этот вопрос, и для меня, не имеющего в руках никаких указаний самой В. Н., есть только один ответ: взаимодействие условий русской жизни и личных свойств Веры Николаевны сложило ее жизнь, привело ее к тому, к чему она пришла. Беспощадность русской действительности, жестокость, не знающая пределов, русского правительства и неизбежность горя русского народа — с одной стороны и строгая совесть Веры Николаевны, суровая логика ее мысли, не допускавшая полурешений, полудействования — с другой стороны... И то прекрасное и благородное, что лежало в русской женщине, дошедшее до своего логического конца, — эволюция русской женщины...

Та прежняя русская женщина была только жена. Прекрасная жена и благородный человек, — она шла за своим мужем на горе и страдания, — и туда, в эту сторону, расходовала огромное мужество и великое самопожертвование. Она долго жила мечтами и не имела дела, куда могла бы вложить свои мечты. Она шла в монастырь, как Лиза „Дворянского гнезда“, она искала и долго бесплодно искала друга-мужа, с которым могла бы идти на то великое и прекрасное, куда звали ее великие мечты, гордый ум и строгая совесть, Елена из „Накануне“ нашла только болгарина и уехала в Болгарию, чтобы там реализовать свои мечты, накормить голодную совесть, так как не было у себя дома поставлена

в должной остроте дело борьбы за правду, так как не с кем было идти на эту борьбу

Вера Николаевна пошла одна, за свой страх и за свой разум, и она была одна из первых, открывших серию новых исторических русских женщин.

Мне незачем повторять подробности биографии Веры Николаевны Фигнер за период ее революционной деятельности. Они достаточно известны из ее собственных показаний, отрывков "обвинительного акта" и появлявшихся в печати неполных отрывочных заметок других деятелей революционного движения. А то, что не опубликовано, может опубликовать только сама В. Н. Но есть тут другая трудность: ее биографии за этот период есть вместе с тем биография партии "Народной Воли"; подробности ее биографии, факты ее жизни за этот период есть подробности, факты жизни партии "Народной Воли" в целом, и, следовательно, развернуть картину ее жизни за период с 1875 по 83-ий год — значит развернуть картину всего революционного движения 70-х гг., и только под этим общим освещением получит должное освещение духовная и фактическая эволюция В. Н.

В этом, конечно, лежит огромный общественный интерес ее биографии, но задача эта слишком велика для меня, и не в короткой заметке решать ее. Тем не менее, я не могу не коснуться, хотя бы в общих чертах, этой стороны биографии В. Н.

Быть может, никто из деятелей революционного движения 70-х гг. так не сплетал свой судьбу с начала и до конца с судьбой партии; никто так не характерен для общей картины движения, с начала и до конца, как Вера Николаевна Фигнер. И в этом индивидуальная особенность ее личности, как революционного деятеля, в этом — и личный, и общественный интерес ее биографии. В. Н. проделала на себе всю ту эволюцию, которую пережила партия. У нее был также период расплывчатого революционизма, идиллического хождения в народ, сводившегося в значительной мере к культурно-просветительной деятельности.

Она вернулась в Россию для революции, но не для террора. У ней явилась другая цель, чем раньше, иная задача — добиться "передачи всей земли в руки крестьянской общины", но пути деятельности остались, в сущности, те же, какие она наметила для себя, уезжая за границу. Она сдала фельдшерский экзамен и поступила в *земство* фельдшерницей. Она

лечила там, учила детей, просвещала крестьян. „Я не подверглась бы никакому преследованию нигде кроме России, и даже считалась бы бесполезным членом общества“, — говорила она на суде.

Легальная деятельность в деревне оказалась невозможной. „В очень скором времени против меня составила́сь целая лига, во главе которой стояли предводитель дворянства и исправник, а в хвосте: урядник, писарь и т. д.“. „Вокруг меня образовалась полицейско-шпионская атмосфера. Меня стали бояться. Крестьяне обходили задворками, чтобы прийти ко мне в дом. Вот эти-то обстоятельства и привели меня к вопросу — что я могу сделать при данных условиях?“ Оказалось, что старыми путями идти нельзя, оказалось при том, что это не личная судьба В. Н., и что в ту же стену уперлись, к тому же вопросу пришли и другие работавшие, как и она, в деревне. И только это, "только горькая необходимость заставила меня отказаться от первоначального взгляда и вступить на другой путь". "Моя предыдущая жизнь, — говорит она дальше, — привела меня к тому убеждению, что единственный путь, которым данный порядок может быть изменен, есть путь насильственный". "Раз принявши это положение, я уже пошла этим путем до конца. Я всегда требовала от личности, — как от других, так, конечно, и от себя, — последовательности и согласия слова с делом"... Мне следовало бы, собственно, не делать выписок, а привести целиком эту замечательную речь В. Н. на суде, так как она необыкновенно ярко и логично развертывает эволюцию В. Н.

Медленно, раздумчиво, с размышлением и сомнениями, пришла она, под давлением непреклонной логики русской жизни, к негнушейся, непреклонной тактике, методу действий второй половины движения 70-х гг., как пришла, при ее непрерывающемся разностороннем участии, вся партия. При ее разностороннем, — правильное сказать — всестороннем участии...

Она принимала участие в теоретической работе партии, в выработке программ, самого направления, в знаменитом разделе "Земли и Воли" на "Черный Передел" и "Народную Волю", в Воронежском и других съездах, и она же принимала участие в проведении в жизнь новых методов действия, вытекавших из теоретических перестроек, из постановлений съезда. Она заводила обширный круг знакомств, в котором фигурировали представители



всех классов общества, начиная от профессора и генерала, помещика и студента, врача и чиновника до рабочего и швеи, и везде, где могла, проводила революционные идеи и защищала образ действия партии "Народной Воли", и она же перевозила динамит, устраивала лабораторию в своей квартире, сама начиняла бомбы и таскала мешки с землей для того, чтобы скрыть следы подкопа, оказавшегося ненужным. И когда Исполнительный Комитет настаивал, чтобы она специализировалась в области пропаганды в "обширном круге знакомств", она отчаянно защищалась и упорно настаивала на своем праве таскать мешки и начинять бомбы. "Я хотела и требовала себе другой роли" (помимо пропаганды), — говорила она в своей речи на суде, — "я не могла бы со спокойной совестью предлагать другим участие в насильственных поступках, если б сама не участвовала в них."

Трудно расценивать роли отдельных личностей в революционном движении 70-х гг. Оно не было заговором, и в нем не было, как в заговоре, центральной фигуры, к которой все стягивалось и от которой все исходило, но, несомненно, В. Н. делалась центром там, где она работала. И были особенные причины, лежавшие в личности В. Н., почему так выходило. Как особенность личной биографии В. Н., нужно отметить, что она медленно, с размышлением и сомнением, подходила к тому или другому пути своей жизни, и уже не сходила с него, доходила до конца этого пути, раз вступала на него. Но не в этом, не в "последовательности и согласии слова с делом", не в глубокой, размышляющей мысли и не в непреклонной воле, с которой проводились в жизнь результаты этого размышления, по крайней мере, не в них одних найдем мы объяснение той роли, которую играла В. Н. в партии. В ней было обаяние. То обаяние, та власть человека над человеком, которые не даются ни размышлением, ни волей, которые так-же независимы от программы, от самого человека, как его глаза, как тембр его голоса. Чтобы собирать кругом себя генерала и помещика, рабочего и швею, чтобы иметь то непреодолимое влияние на литераторов и офицеров, на молодежь и умудренных опытом либералов, против которого у людей не было сил бороться, нужно было иметь нечто исключительно индивидуальное, обаятельное. Я не буду приводить примеры из деятельности В. Н. — их много, и некоторые попали в печать хотя бы случай с адвокатом Самарским-Буховцем, приво-

димый в воспоминаниях Михайловского), — я отмечу лишь фразу самого Михайловского: "...Но ни о ком из них не вспоминаю я с таким благоговением, как о Вере Фигнер". Нужно хорошо знать Н. К. Михайловского, его сдержанность и, так сказать, застегнутость, его аскетизм в эпитетах и скупость в похвалах, чтобы понять и в должной мере оценить его "благоговение".



Быть может, на этом мне нужно было бы поставить точку, на суде, на захлопнувшейся двери тюрьмы. Случайно смертный приговор не приведен был в исполнение. За напряженной "вольной" жизнью последовало слишком 20 лет Шлиссельбургского безмолвия.

Но там, за стенами Шлиссельбургской крепости, продолжалась жизнь, долгих 20 лет жизни, — там тоже была биография. У меня мало материалов для этой биографии, и, чтобы говорить о ней, мне нужно отправляться от того, что дала биография вольного человека, к тому скудному и тяжело-трудному, что есть в стихах Веры Николаевны, в ее воспоминаниях о Л. А. Волкенштейн, личных рассказах и отрывочных воспоминаниях других шлиссельбуржцев... И, прежде всего, нужно исходить из психологии В. Н., поскольку она вырисовалась в предыдущей деятельности и в той мере, в какой мне, неуполномоченному человеку, дозволительно касаться ее...

В своих воспоминаниях Н. К. Михайловский обронил фразу: "никаких специальных дарований у нее не было". Я понимаю эту мысль, но ей нужно дать расширенное толкование. Когда мы встречаемся с человеком, нам бросаются в глаза прежде всего индивидуальные черты, углы личности, и невольно, по инстинктивному стремлению выделить данного человека из ряда других людей, мы инстинктивно прежде всего ищем какую-нибудь индивидуальную яркую сторону, какой-нибудь центральный пункт, который мог бы объяснить нам человека, к которому можно было бы свести данную индивидуальность. Таких углов, таких специальных удлинений отдельных черт не было в В. Н. Если можно говорить о гармонии человеческой индивидуальности, где все на своем месте, и ничто не выдвигается в удлиненную линию, то это нужно сказать именно о В. Н. В меру должного соотношения зале-

гали в ней мысль и чувство, вера и сомнение, любовь и гнев, размышление и действие, слово и дело. В массе людей такая гармония создает среднего обывателя, серого человека; когда же все это отпущено человеку в большем размере, — получается большой, очень большой человек, получается та великая гармония, из которой вытекает великая красота человека. И великая мука для него... Мука из отсутствия специальных удлинённых линий, будет ли то мысль, которая способна обуздать чувство и подсказать ему должную формулу успокоения, будет ли то удлинённое чувство безраздельной веры, с которой тепло человеку на свете... В многосложной душе — "много мест... больных", и рядом с аккордами, полными звуков живых, диссонансы раздаются...

Быть может, из тяжелых наследий человека самое тяжелое — размышление и связанное с ним сомнение. И, чем крупнее ум, тем тяжелее и глубже размышление... И у кого полнота души, у того и полнота муки...

Вера Николаевна Фигнер вошла в тюрьму в 1833 году, когда партия "Народной Воли" была разгромлена, правительство вешало и расстреливало, общество бездействовало, народ молчал, и когда поднималось, могло подняться "сомнение".

«Вошла с расшатанной душой  
Я в эти сумрачные стены,  
И прогремел в них, вслед за мной,  
Гул торжествующей измены...  
Сюда с собой я принесла  
Тяжелых дней воспоминанья,  
Но здесь всю горечь испила  
Безмолвной муки и страданьям.

Так пишет о себе В. Н. в своем воистину трагическом стихотворении (стр. 35), которое мне больно приводить целиком.

Измученная тяжкой, напряженной революционной деятельностью, долгой непереносной конспиративной жизнью, под вечной угрозой сыска, с "разоренной душой", — вошла она в сумрачные стены тюрьмы, и за нею остались "гул торжествующей измены" и "тяжелых дней воспоминанья".

«И все, что в глубине души,  
На самом дне ее таилось,  
Среди таинственной тиши  
Грозю страстной разразилось...—

пишет В. Н. в том же стихотворении. "Страстная гроза"

находит исход в том, о чем говорит следующее стихотворение:

«На помощь, как друг, к нам приходит судьба,  
 В тюрьме предлагая покой одинокий.  
 С умом утомленным, с душою больной,  
 В живую могилу мы сходим  
 И полный поэзии мир и покой  
 В стенах молчаливых находим»...

Но "тяжелых дней воспоминанья" не уходят из души, и "страстная гроза" время от времени просыпается, и глубоким трагизмом звучит огромный по вложенному в него психологическому содержанию, достойный стать рядом с величайшими изречениями человека и получающий особенно зловещее освещение в темных недрах Шлиссельбургской крепости, тезис, криком вырвавшийся из этого предпоследнего стихотворения:

«Для сердца людского род мук изменить—  
 Нередко предел всех мечтаний!»

Подробности жизни узников Шлиссельбургской крепости достаточно известны. Я не буду говорить о разнообразных методах мучительства, на которые было так богато мыслью правительство, и которые применялись по отношению к заключенным, — они известны; и, если делать характеристику, я остановился бы на подробности, на мелочи, так как мелочи, из которых складывается Жизнь, быть может, наиболее характеризуют ее: два года В. Н. не давали гребенки причесываться...

Там была жизнь, большая жизнь. Там умирали люди, и живые люди слушали, прислушивались, как стонет и последним кашлем кашляет умирающий человек. Там наглые люди нагло оскорбляли безоружных, беззащитных людей; там люди сжигали себя. Туда привозили людей с воли затем, чтобы повесить в стенах крепости и тайком сравнять с землей безвестные могилы. Там была жизнь, были и радости, увлечения. Бледный луч солнца заглядывал порой и в темные стены живой могилы; не очень много и не слишком часто, но и жители шлиссельбургской тюрьмы испытывали "приятные волнения, которые возникают при виде таких ординарных вещей, как облако или голубое небо (Восп. М. В. Новорусского)". Расцветали цветы на грядках, — простенькие цветочки Фроленка, горел махровый мак Полива-

нова. Там росли настоящие зеленые овощи, настоящая репа, морковь и капуста, крыжовник и малина, там рос конспиративный табак, и люди увлекались табачной фабрикой и винокуренным заводом, разводили цыплят и кур. Была химия, была математика, была астрономия, были лекции, иллюзия науки... И со страниц старых журналов изредка заглядывала бледная русская жизнь в темную тюрьму.

Было много дел и у В. Н. Она сама столярничала, делала шкафы, столы и табуретки, точила на токарном станке, переплетала книги, занималась ажурными работами по дереву, рисовала, выучилась шить башмаки, составляла коллекции, сделала жестяной кофейник, соломенную шляпу, которой очень гордился получивший ее узник-товарищ. Читала много и, как прежде, интересовалась беллетристикой, естественными науками и философским синтезом человеческого знания, переводила с английского Киплинга и два раза в год получала письма и писала письма, — сестрам, братьям, детям сестер и братьев и в особенности матери, которую она нежно и трепетно любила, о которой думала и тревожилась триста шестьдесят пять дней в году. И выращивала "сирот" ласточек, гнезда которых летные бури сбрасывали с карнизов тюрьмы. Ласточки были умные и ласковые. Они бегали за В. Н. по камере, как собачки, они влезали ей на колени, и случалось, когда В. Н. лежала на кровати с книгой, неожиданно ласточка появлялась на груди ее, и писк и щебетанье, словно младенческие крики, поднимались в камере в четыре часа утра, когда просыпались ласточки. А потом В. Н. выпускала ласточек на свободу... А сама оставалась одна, в неволе, за стенами тюрьмы...

Да, ласточки, книги, два письма в год, жестяной кофейник, две грядки в огороде, "полный поэзии мир и покой"... Но М. Ю. Ашенбреннер пишет: "цветы, птицы, шахматы, торты и огороды, в сущности, нам не были нужны. Нам нужна была свобода"...

Им нужна была свобода, — все облака, все голубое небо, все солнце; им нужны были дорогие близкие люди, им нужно было не томиться от неизвестности о том, что делается на воле, какая судьба постигла дело, на которое они положили свой жизнь. Иногда нужна была свобода и для того, чтобы быть одному, — у кого развивался "вкус к одиночеству", кто усиленно стремился создать себе "полный поэзии мир и покой".

К ней, одинокой узнице, которая на воле была центром.

чье желание "для многих было законом (Ашенбр.), тянулись люди, друзья, товарищи с своими радостями и бурными протестами"... Энергичная, отважная, самоотверженная, пишет тот же М. Ю. Ашенбренаер, — она всегда была впереди; и не удивительно, что в больших и малых делах все взоры невольно обращались к ней, ожидая от нее слова, знака или примера". А сама В. Н. пишет в воспоминаниях о Л. А. Волкенштейн, что у нее бывали настроения, когда она "прямо тяготилась встречами с товарищами и чувствовала непреодолимое стремление бежать от них"... Не всегда человеку удается род мук изменить, и свобода одиночества иногда трудно добывается в тюрьме.

В. Н. оставалась все та же в тюрьме, как и на воле, со своим глубоким размышлением, медленным решением и непреклонной волей, доводившей решение до конца.

Она долго не соглашалась на уговоры Л. А. Волкенштейн протестовать путем отказа от прогулок в пользу товарищей, лишенных их, отказывалась на серьезных основаниях. Но, когда решила, она до конца довела свое решение, и хотя потом "все спуталось и смешалось", полтора года лишала себя, по ее признанию, самого дорогого и радостного, — свидания с Л. А. Волкенштейн, которая была светлым ангелом Шлиссельбургской тюрьмы, которая была для В. Н. "утешением, радостью и счастьем".

Не во внешних мучительствах и издевательствах и не в одной тяжести Шлиссельбургской неволи была мука В. Н. Она лежала внутри ее, в ней самой, в ее вечном размышлении, в тяжелых воспоминаниях о том, что составляло все содержание ее жизни, ее веру, ее мысли.

Так описывает она свое Шлиссельбургское настроение в письме к Архангельским ссыльным. Она говорит о солдате из картины Верещагина „На Шипке": "Смена не приходит... и не придет никогда! А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой... И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца. Так жили мы, год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания и даже воспоминания, которые тускнели и стирались... Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых молодых сил... Но все было тщетно: мы старились, изживали с в о ю жизнь — а смены все не было и не было!"

Она была уверена, что все кончено, что из сугробов Шлиссельбургской тюрьмы нет выхода, и что смена не придет. Это было долго (двадцать лет), так долго и так было трудно примирение и добытое тяжкими жертвами спокойствие, что, когда смена пришла, — не чувство радости, не восторг пред свободой проснулись в заморенной душе, а страшная боль, как от вскрывшихся ран, как та жестокая, невыносимая боль, которую испытывают замерзшие люди, когда их приводят к жизни...

.. "И вдруг! опять удар в замкнутую дверь", — пишет она П. Ф. Якубовичу. "Ах, П. Ф., когда человек уже решил, что все кончено, и примирился с этим, отказался жить, то быть вновь разбуженным криком „живи!" — это целая трагедия, мука, от которой даже и сейчас я не могу освободиться"...

У меня почти нет личных воспоминаний о Вевре Николаевне — я мало знаком был с ней. Я помню ее в 76 году: вскоре после возвращения своего из-за границы, она заходила ко мне не надолго по делу. Мельком видел ее еще раз в ту же зиму. И у меня не осталось в памяти ни слов, ни жестов, ни тембра голоса, — ярко осталось только жизнерадостное, светлое, озаренное лицо. Оно так выделилось из других лиц и осталось так ярко у меня, что я и теперь узнал бы в толпе, на улице, то лицо 76-го года... А потом я знаю другое лицо, которое знают все, — лицо 83-го года в Петербургской тюрьме, перед судом... И я долго и упорно смотрю на эти опущенные углы рта, строгие глаза и сурово сложенный лоб, на это потемневшее лицо с трагическим отблеском, стараюсь вспомнить то светлое, озаренное прекрасное лицо — и мне трудно вспомнить его. Мне кажется, целая пропасть легла между этими двумя лицами, и что в этом вся биография Веры Николаевны. И это прекрасное другой трагической красотой лицо кажется мне символом. В этих двух лицах — все движение 70-х годов.

*С. Елпатьевский.*